



Андрей ТЕРЕНТЬЕВ ● ПОЛЫНЯ

РАССКАЗ

В очередной раз прозевав поклевку, Мирон Гаврилович с досадой отодвинулся от лунки. Рыбалка явно не клеилась.

Между тем, все вроде складывалось удачно: и клев приличный, и за ночь хорошо отдохнули в доме лесника, и погода балует — солнечно и в меру морозно. Но настроение какое-то расслабленное, мешающее сосредоточиться на чем-то одном. Даже когда удавалось подсечь сторожкого хариуса и выбросить его на лед, Мирон Гаврилович проделывал это машинально, не загораясь тем волнением, когда у рыбака трясутся руки, когда сердце начинает учащенно колотиться, а кровь жаркими толчками бьет в виски.

Было не то тревожно, не то тоскливо, но сколько Мирон Гаврилович не искал причин своему настроению, таковых не находилось. Мысли свились в клубок, и не было возможности отыскать в этом клубке начало или конец. Иногда Мирону Гавриловичу вроде удавалось ухватиться за определенную мысль, но она тут же ускользала и минутой позднее он уже не мог вспомнить, о чем только что думал. Как любой деловой человек, отгадку своему настроению он пробовал искать прежде всего в производственных делах. Но его трест давно уже не работал так ритмично. Домашние дела? Только недавно выдал замуж дочь, и зять, кажется, неплохой парень...

Мирон Гаврилович встал и начал прохаживаться вдоль берега. Пожалел, что не захватил с собой лыжи. А то бы как раз по настроению побродить по заснеженному лесу. Хотя в здешней чаще не очень-то разгуляешься — быстро в пот вгонит, — но, пожалуй, это было бы самое лучшее, что можно придумать при таком паршивом состоянии.

Мирон Гаврилович дошел до обрыва, над которым переплетенные корни деревьев нависли плотным шатром. Ногой вырыл в обрыве мелкую ступеньку, наблюдая, как осыпается просохшая под ветром и солнцем земля. Хотел развести костер и посидеть, но с корневищ посыпался на голову и за воротник колючий мусор, и Мирон Гаврилович поспешил вернуться на лед. С завистью посмотрел в сторону своего шофера Толи. Тот растянулся на льду, сунув нос прямо в лунку, и только по ритмичным взмахам руки с зажатой в ней короткой «махалкой» было видно, что это живой человек. Мирон Гаврилович стоял и смотрел на него, пока не начал мерзнуть. И хотя надобности в еще одной лунке не было, взялся за ледобур.

...От крутого поворота речки донесся приглушенный расстоянием крик. Рыбаки одновременно обернулись в ту сторону, всматриваясь. Там суетился лесник. Опять что-то прокричал. Они закрепили удочки над лунками и, захватив топор, поспешили туда.

В нескольких шагах от берега лошадь проломила лед и завалилась на правый бок. Ее передняя правая нога не доставала дна, а левая задралась на кромку обломившегося льда. Крупом лошадь лежала на оглобле, и задние ноги оставались на льду. Лесник уже успел подсунуть ветки под голову лошади. Та загнанно вздыхала.

Мирон Гаврилович сразу понял, что предстоит изрядно повозиться. С досадой спросил у лесника, зачем он загнал сюда скотину. Ведь даже сквозь снег угадывается, что лед здесь слабый. Лесник сдвинул шапку на лоб и ожесточенно поскреб затылок:

— А бес его знат, чево меня сюды понесло. Думал вроде твердь, а оно вон куды вышло. Да и она, зараза, поленилась резвей сигануть. На берег бы и выскочила. А то разлеглась, барыня. Ждет, когда ее вытащат.

— Она у тебя сиганет, — Мирон Гаврилович сумрачно кивнул на лошадь. Та была страшно худая. Выпирающие ребра грозили прорвать вытертую, местами почти лишенную шерсти шкуру.

— Кормишь, видать, плохо.

— А чево ее кормить? Сама не маленькая. Травы под снегом навалом. Разгребай, да жри сколько влезет.

Лесник явно ерничал, но Миرونу Гавриловичу что-то помешало осадить его. Свой топор лесник успел уже утопить и, увидев шофера с топором, радостно закричал:

— Толь, лезь на берег! Вали березовые жерди. Они гладкие. А то шкуру кобыле сучками пропорем — и на живодерне не примут! — И, оскалив прокуренные зубы, раскатисто захохотал.

Толя рубил и сбрасывал с крутого берега жерди. Мирон Гаврилович уложил несколько крепких жердей по бокам лошади, а другие стал укладывать поперек, стараясь, насколько возможно дальше, подсунуть их под вздрагивающую тушу. Самую длинную и толстую жердь лесник бросил себе под ноги и, стоя на ней и на оглобле, занялся упряжью. Сбруя была никудышная — изопревшие ремни были связаны почти столь же гнилыми веревками. Лесник зубами растягивал смерзшиеся узлы, а те, которые не поддавались, разрезал ножом. Скоро леснику потребовалась какая-то особенная жердь, и перестав распрягать, он полез на берег. Лошадь тревожно шевельнулась и, приподняв голову, тоскливо проржала вдогонку хозяину. Тот не оглянулся.

Мирон Гаврилович пробрался по жердям к голове лошади. Пальцами расчесал спутанную челку, погладил холодный храп. Лошадь опять задремала, но дрожь все чаще пробегала по ее костлявому телу. Миرونу Гавриловичу подумалось, что если за полчаса ее не вытащить из полыньи и не поставить на ноги, она уже не поднимется. Впрочем, эта зима для нее, наверно, и так последняя...

И вдруг пронзительный страх, какое-то жгучее дуновение, резнул самого Мирона Гавриловича прямо по сердцу. Его будто озарило, что это поглаживание — совершенная фальшь, что он не испытывает к животному никакой жалости и даже если хозяин решит оставить скотину подыхать в полынье, он, Мирон Гаврилович Павлов, спокойно уйдет к своим удочкам. А вечером так же равнодушно пройдет мимо вмерзшей в лед лошади... Мирон Гаврилович приложил руку к сердцу. Оно билось спокойно. Лошадь опять скосила на него глаза, будто ожидая повторной ласки.

В полной растерянности Мирон Гаврилович глянул в сторону лесника и Толи. Те возились с очередной березой. Не хватало духу и отойти от лошади. От неудобной позы — он сидел на корточках — в коленях остро заныло, и Мирон Гаврилович только беспомощно озирался, будто привязанный. Тут

ему крикнули с берега, чтобы он принял вырубленную жердь, и, подстегнутый малодушной радостью освобождения, Мирон Гаврилович отбежал от полыньи.

Наконец лесник уложил последнюю жердь, разрезал последний узел на сбруе. Стащил с лошади хомут и опутал ее шею веревкой. Мирон Гаврилович с Толей начали пятиться к берегу и тянуть за веревку. А лесник, стоя на жердях, тащил лошадь прямо за гриву. Они уже не меньше, чем на полметра, подтянули голову ближе к берегу, но туша оставалась на прежнем месте. Лошадь выкатывала закровянившиеся глаза и натужно храпела. Казалось, еще одно усилие — и они оторвут или перережут впившейся веревкой шею лошади. Мирон Гаврилович старался не смотреть туда, но и тащить вслепую было нельзя. Собрался уже крикнуть, что надо придумать что-нибудь другое, но в этот момент тело лошади наконец стронулось с места, прогнув подсунутые под него жерди. Лесник закричал, чтобы больше не тащили, но и не давали веревке слабины. Сам зашел с другой стороны и, рискуя сорваться в воду, вытащил из полыньи ногу лошади. Веревку перевязали ближе к крупу, и опять Мирон Гаврилович с Толей тянули изо всех сил, а лесник тащил за хвост. Лед потрескивал, но не обломился. Они налегли — и лошадь оказалась на прочном льду.

Веревку отвязали, но лошадь даже не попыталась встать, сколько ее ни похлопывали и ни понукали. Ребра ее ходили ходуном, в животе гулко урчало. Тогда лесник дернул за узду, дико вскрикнул и с размаху ударил лошадь по морде. Та вскочила на передние ноги, потом, дважды дернувшись, встала и на задние, но ее повело в сторону, она закачалась — вот-вот снова упадет. Лесник поднырнул ей под брюхо и держал спиной.

— Но-но, милая, не пади! До весны доживем — гулять будем!

Лошадь стояла понурившись, подогнув замерзшую ногу и жалко дрожала. И снова Мирон Гаврилович не смог заставить себя подойти и погладить обессилевшее животное. Ощущение фальши не только не проходило, а начинало тяжело давить на сердце.

Они помогли леснику оттащить сани подальше от полыньи и вернулись к своим удочкам. Лесник с лошадью поплелись к зимовью. Мирон Гаврилович почувствовал облегчение. Он еще с утра зарился на уловистую Толину лунку и сейчас как бы по рассеянности занял ее. Толя потоптался за его спиной и, забрав ледобур, ушел вверх по реке.

Клев был хороший, но смутное недовольство собой все-таки не исчезало, и рыбалка сперва опять не клеилась. Когда «сторожок» чутко прогибался, принимая из-под воды сигнал поклевки, Мирон Гаврилович раз за разом непростительно запаздывал с подсечкой. Хариус успевал отпустить крючок, а если и подсекался, то слабо и срывался. Очередную поклевку Мирон Гаврилович даже не почувствовал. Только «сторожок» чуть заметно дрогнул и выпрямился. Хариус был чуть длиннее спички. С удивительной для такой крохи силой он боролся за свою жизнь, — изгибался, выскользывал из рук. Стараясь не помять холодное тельце, Мирон Гаврилович не сразу освободил его от крючка. И тут же опустил в лунку. Рыбешка ошалело ткнулась о кромку льда, отлетела от нее, ткнулась еще раз и, уловив наконец ток воды, круто ушла вниз. Мирон Гаврилович смотрел на лунку и размягченно улыбался. Потом лег на лед и заглянул в воду.

Там кипела своя жизнь. В прозрачной воде кружился густой хоровод рыб. У самого льда сновала мелюзга, а ближе к галечному дну ходили рыбы покрупней. Изредка из дальних подледных сумерек выплывали патриархи, граммов на четыреста и больше. Неторопливо пошевеливая острыми плавниками, они делали что-то вроде круга почета и опять исчезали. Не отрываясь от лунки, Мирон Гаврилович на ощупь взял из банки короеда и опустил его в воду. Белая личинка погружалась плавно и беспорядочно, как падает ранней осенью лист с дерева при безветрии. Рыбешки кинулись к добыче, опередила самая шустрая. Ничем приметным от других рыбешек она не отличалась, но Мирон Гаврилович готов был поклясться, что это именно та, которую он только что отпустил. Она с разгона ухватила короеда поперек, и вздуваясь и опадая жабрами, стала толчками заглатывать его. Ишь ты! Мирон Гаврилович вырос на Волге и много раз наблюдал свалки, устраиваемые окуневой, сорожкой или иной мелюзгой из-за брошенного червяка. А здесь, на таежной речушке, порядок был другой, — никто не сделал попытки отбить у счастливика добычу.

Мирон Гаврилович стряхнул с полушубка приставший снег и насадил на крючок свежего короеда. Тягучая и сильная поклевка последовала без промедления. И тут он почувствовал, что к нему пришел рыбацкий азарт. По телу прокатилась жаркая волна, сердце зачастило. Сдерживая себя и кого-то умоляя: «Ну пожалуйста... Я прошу... Я очень, очень прошу... Да, да, милая, хорошая»... — Мирон Гаврилович осторожно, но энергично выбирал жилку. Он старался удержать ее в сере-

дине лунки, чтобы не дай бог рыба не рванулась в сторону и не обрезала снасть о нижнюю кромку льда. Когда уже завел добычу в лунку, сладкая тяжесть вдруг оборвалась, и сердце Мирона Гавриловича тоже оборвалось. Но в тот же миг из лунки взвилась блестящая и упругая стрела. Обратно рыба упала поперек лунки и уже успела, кажется, коснуться воды, когда, еще не поняв, что произошло, Мирон Гаврилович рванулся к лунке, сунул в нее руку почти до плеча и вместе с водой выплеснул на лед килограммового красавца-ленка. Отрывка жилка лопнула, но теперь это уже не имело значения.

Мирон Гаврилович бурно дышал, не отрывая взгляда от крапчатого ленка, бившегося на льду. Перевел дух и снял полушубок. Выжал намокший рукав, вытер подолом рубашки часы, поднес их к уху — часы шли. Холодок леденил, и Мирон Гаврилович поспешил одеться. Потрогал засыпающую рыбу и счастливо рассмеялся. Солнце уже садилось за лес, и эта поклевка была сегодня последней.

Вечером лесник натопил печку до невозможности. Дом был пятистенный, в нем когда-то размещалось общежитие лесоучастка. Лесозаготовители давно уже перебрались на другое место. Кроме дома, здесь сохранились баня, хлев и еще кое-какие приходящие в упадок постройки. Первую половину дома лесник превратил в неотапливаемую прихожую. Но печь там была в исправности. Сегодня он жарко протопил и эту печь. Да и двери, ведущие в жилую половину, оставил открытыми. В обогревшуюся прихожую привел из хлева лошадь.

Мирон Гаврилович лежал на «гостевой» кровати, раздевшись до исподнего. После дня, проведенного на морозе, в движении, истосковавшееся в кабинетной тесноте тело приятно млело. Но сон не шел. Опять в голову полезла разная всячина, и Мирон Гаврилович тщетно старался от нее избавиться. Случай с лошадью усилил в нем утреннее ощущение какой-то личной вины. Это чувство таило в себе еще какую-то непонятную угрозу и, спасаясь от него, Мирон Гаврилович принуждал себя думать только о том, что было позднее, днем.

А днем была полынья и замерзающая в ней лошадь. Мирон Гаврилович никогда не замечал за собой сентиментальности, так неужели эта доживающая свой век кляча так разжалобила его? В конце-то концов не он ее в полыньяю столкнул. Да не подоспей они с Толей, она там бы и осталась. Как-никак доброе дело сделали.

Мирон Гаврилович отыскивал все новые и новые самооп-

равдания, и все они были безупречными, но утешения почему-то не приносили и утреннего настроения не рассеивали. У него начинало расти раздражение на лесника, перетопившего печь, на эту шаткую кровать, с которой того и гляди сверзишься на пол, на храпевшего в своем углу Толю и еще черт знает на кого и на что. Хотел уже встать, но тут услышал, как лесник заворочался в своей каморке, отгороженной от общей комнаты дощатой стенкой, скользнул на кухню, звякнул там ведром и вышел в прихожую. Мирон Гаврилович устал ждать его возвращения. Тогда он тоже встал, натянул шерстяные носки, накинул на плечи пиджак и, осторожно ступая, прошел в темную кухню.

В прихожей горел фонарь. Свет огонька едва пробивался сквозь закопченное, давно не чищенное стекло. Лесник стоял, касаясь лбом головы лошади, говорил ей что-то ласковое и кормил овсом прямо из рук. Временами лошадь отрывала губы от ладоней и переставала жевать, вслушиваясь в ласковые слова и будто стараясь понять их смысл. Потом лесник занялся ее ногой. По-видимому, он сделал ей больно, и лошадь, вскинувшись головой, вырвала из рук хозяина ногу, стала гулко переступать по деревянному полу. И опять лесник говорил ей ласковые слова и, завладев ногой, растирал ее свернутой мешковиной.

Огонек фонарика совсем потускнел. Лесник приподнял стекло, пальцами снял нагар. Огонек мигнул и ярко вспыхнул. Лесник подул на обожженные пальцы, выругался. Лошадь перестала жевать и неодобрительно вздохнула. Лесник опустил стекло на место, покачивая фонарем, вышел на улицу, неплотно прикрыв за собой дверь. По полу потянуло холодом. Мирон Гаврилович бесшумно вернулся на кровать. Скоро и лесник прошел в свою комнатку.

Сон совсем отлетел, но сумятица мыслей мало-помалу начала укладываться, и у Мирона Гавриловича крепла уверенность, что подобное состояние духа он уже испытывал много раньше сегодняшнего дня, но когда и чем оно было вызвано, никак нащупать не мог. Он ворочался с боку на бок, пробовал лежать на животе и, вконец измучившись, заставил себя лежать на спине. Длинная ноябрьская ночь только еще начиналась, и Мирон Гаврилович уже готов был разбудить шофера и возвращаться домой. Толя, будто услышав его мысли, зашевелился, почмокал губами, и опять густой храп заполнил комнату. Мирон Гаврилович даже вздрогнул. Его мятущаяся мысль ухватилась за Толин храп, а память тут же стала подсовывать одно за другим все, от чего он до этого

дня пренебрежительно отмахивался, как от малозначительного, мешающего главному делу.

А отмахивался — приходилось признать — из боязни заглянуть в самого себя. Парень ночь не спал, готовил машину к дальнему рейсу, а он у него лунку отнял. Чином своим парню в нос ткнул. Это на рыбалке-то!

Если уж начал признаваться себе, надо признаваться до конца.

Недавний разговор с пожилой секретаршей...

— Вы, Мирон Гаврилович, простите меня, за последнее время очень изменились. Раньше люди к вам с охотой шли, а как стали управлять трестом — только по вызову. Кричите на всех. Я очень устала. Прошу расчет.

— Ну что ж, Ольга Семеновна, поищите место получше...

Это и все слова, что он нашел для нее на прощанье, — а ведь они десяток лет проработали вместе... А скорбная морщинка на лбу жены — он ведь даже не заметил, когда она появилась. Когда собирался на рыбалку — он теперь ясно вспомнил — на лице у нее появилось облегчение. Значит, тоже устала и хочет побыть одна... А дочка, зять? Только и может сказать о нем, что парень вроде неплохой. А что у них на душе, чем живут, чего от судьбы ожидают, — ему и невдомек. Давно, давно не было у них в семье душевных разговоров...

Мирон Гаврилович потянулся пальцами к горлу, но растегивать было нечего — на нем была только майка. Лежать он больше не мог. Вышел на кухню, нашарил на подоконнике сигареты. Яркие звезды заглядывали в закуржавевшее окно.

За дверью вздыхала и переступала ногами лошадь.

Мирон Гаврилович сидел и думал, думал — всю эту бесконечную ночь.